

От автора.

Все предлагаемые вниманию читателя статьи, за исключением четвертой, появляющейся впервые, были напечатаны в разное время на разных задворках сибирской прессы, куда загнали автора 1) расхождение со всей областнической и околосластнической печатью того времени (а другой в Сибири почти и не было) по всем почти вопросам дня, и 2) исключительная нетерпимость областников, не допускавших даже тени критики, в силу чего, напр., не мог своевременно проявиться даже такой объективный и лояльный очерк, как „Сибирский мотив и областничество“.

В настоящее время, на огромном историческом разстоянии и в перспективе, автору представляется, что деятельность нас, т. е. тогдашних невольных „прин-шельцев“ в Сибирь, в культурно-научном и социально-политическом отношении была не столь уже вредна или бесплодна, как представлялась она реанивным областникам. В частности, работа в области художественного осознания Сибири как будто принесла уже свои результаты.

Вот почему мы сочли не лишним выпустить наш скромный сборничек статей—эту попытку пишущего осознать наличие областного, сибирского, мотива в русской поэзии, проследив параллельно и его эволюцию, в связи с развитием социально-психологических условий.

Н. Чужак.

Сибирский мотив у И. В. Федорова-Омулевского.

(К тридцатилетию со дня смерти).

Иннокентия Васильевича Федорова - Омулевского (1836—1883) считают отцом сибирской поэзии. И это верно. Были в Сибири поэты и ранее, и даже такой видный поэт, как Бальдауф, но никто из них не имел такого влияния на поэзию сибиряков, как Омулевский. Собственно, главная часть творчества Омулевского принадлежит метрополии; задачи и интересы которой почти целиком поглотили раннего выходца Сибири вдали от родной окраины, но есть в поэзии Омулевского и нечто такое, что резко выдвигает его из ряда второстепенных, если не третьестепенных, поэтов метрополии и делает близким сердцу не только каждого сибиряка, но и каждого не безразличного к поэзии россиянина. Это—сибирские мотивы в его поэзии. Они-то и определяют Омулевского, как личность, среди прочих тускловатых в одиночку, но ярких в содружестве, звездочек некра-совской плеяды; они-то и делают Омулевского первым по положению поэтом Сибири.

Существует взгляд, проникавший и в сибирскую окраинную печать, будто никакой „сибирской“ поэзии нет и быть не может. Что ее нет—об этом еще можно спорить; но что ее и быть не может—это уже совсем неправильно. Достаточно, думается, ясно, что термин „сибирская поэзия“ мы употребляем чисто условно: не в смысле какого-то, помилуй бог, сепаратизма, хотя бы и художественного, а в смысле наличия в родной поэзии сиб. мотивов, сибирских настроений, красок, сибирской природы, сибирского, если угодно, быта. И только.

Небо Якутского края и хозяйственные отношения в якутском жизненном укладе порождают психику, отлич-

ную от психики средне-сибирского, положим, крестьянина. Поэзия Шевченки (не касаясь языка) родилась на Днепре и вся полна украинских мотивов—от несчастной доли батрачки Катерины до волнующих легенд о гайдамачине. Поэзия Некрасова обвеяна прелестью Волги. В маленькой книжечке стихов Кольцова есть безкрайняя донская степь; в ней чувствуется и степное небо, и идилличность не успевшей еще дифференцироваться общественной среды. В творениях того же Некрасова дышишь сырым, промозглым петербургским воздухом, ибо туманный Петербург—вторая родина Некрасова. Упомянуть ли о великом Пушкине? Способность восприятия оттенков специфических у Пушкина поэзии поразительна. Начиная с „Евгения Онегина“ с его чисто-русскими, центрально-российскими тонами и настроениями (я имею в виду помещичью деревню), переходя к поэмам кавказским, даже бессарабским, с их истомой, и кончая каким-нибудь „Медным всадником“, где ясно слышишь не только „тяжело-звонкое скаканье“ по петербургской мостовой, но и как волны бьются о гранитный берег Невы, или поэмой „Полтава“, где „дремоты превозмочь не хочет воздух“,—езде и всюду, до чего бы ни коснулся слух великого поэта, ни дошел бы взор его, везде и всюду мы имеем местные, или, допустим, областные (да не бойтесь же вы, наконец, этого слова!) тона и краски, местные или областные мотивы и настроения,—имеем: специфический колорит.

И вообще—не нужно бояться это сказать: чем выше тот или иной поэт, тем более способен он чувствовать все специфическое, все особенное (на ряду с такой же способностью обобщения); собрание всего „особенного“ в русской жизни и природе и составит величайшую сокровищницу—русскую поэзию. В сокровищнице этой очень немного красок сибирских, и то немногое, что в ней все-таки есть; привнесено не столько сибиряками, сколько побывавшими в Сибири „чужестранцами“: В. Г. Короленко, В. Г. Таном, В. Серошевским, покойным П. Я. и другими. Поэзия же коренных сибиряков (Фе-

дорова-Омулевского пока исключая: о нем речь специальная, дальше) она какая-то безликая: в ней можно встретить все, что угодно и ортодоксальный „реализм“, и плохо переваренное „декадентство“, нет только главного: сибирского лица сибирской природы, красок, быта, настроений, мотивов, словом — души сибирской. А без этого поэзия — *tabula rasa*.

Придет один „сибирский“ поэт, и дурно переложит „своими словами“ Никитина; придет другой, и — обретаюсь в явном конфликте с грамматикой, ухватится за самые верхушки „модернизма“; третий повторит замызганный мотив из Надсона; четвертый бросит двести банальных, мертвых фразы о величии Байкала, — таково, в общих чертах, творчество большинства новейших сибирских поэтов (1913). Много разговоров о своем сибирском, много „любви к отечеству и народной гордости“, и очень, очень немного подлинного творчества, серьезного искания своего собственного коллективного „я“, своих собственных, не взятых на прокат у метрополии, а выношенных в собственной душе, художественных образов.

Причину такого грустного явления, мне думается, нужно видеть не столько в сравнительной духовной молодости Сибири, сколько в той, довольно-таки неопределенной, в общем, стадии общественного развития, которую она переживает. От одного какого-то патриархального берега Сибирь отстала, а к другому, связанному с городским укладом — пристать не успела. Отсюда — и все признаки культурного лагнеризма. Старые духовные ценности — в виде пресловутого „сибирского патриотизма“ типа застольного бахвальства или не менее пресловутого „демократизма“ общесибирского, прямо с неба в готовом виде свалившегося всем сибирякам, без различия общественных слоев и классов — уже не удовлетворяют, хотя и продолжают еще изредка вдохновлять присяжных элатоустов той или иной общественной группы; новых же ценностей еще не накоплено. Отсюда — тяготение сибирской молодежи к метро-

полии, это центробежное по отношению к Сибири и центрострейтельное по отношению к столицам движение культурных сил, не находящих себе дома, несмотря на фразы о Сибири, как „золотом дне“ и „непочатом“ для работы угле—достаточно надежного и бережного применения.

Молодежь сибирская рвется в столицы, к „свету“, к „шире и простору“, — „в Москву, в Москву!“ Но не в пример Некрасову, расставшемуся со своей первой родиной обвешанным ее прелестью и пришедшему во вторую родину с плохим или хорошим, но каким-то определенным и цельным укладом—она является туда, в метрополию, с печатью духовного нищенства на челе и, не имея ничего отстоявшегося, „сибирского“ в душе, бессильна претворить в ней и свою вторую родину. Положение получается довольно незавидное: какой-то заколдованный круг творческого безсилия, выход из которого может быть только один— немедленно разставшись с утешающими конфетками в виде несознанных отрывков перестоявшейся патриархальности (в широком, не казенном, смысле), направить творчество окраины в русло научного (по методу) познания условий общественной жизни — в русло общественно-хозяйственного, культурного и всякого иного самоопределения.

Некоторую утешительную аналогию с временной скудостью сибирского творчества представляет, на наш взгляд, пресловутая же скудость песенного творчества, обычно наблюдаемая при переходе, напр., вчерашней деревни в сегодняшний фабричный поселок.

Наступает момент, когда стройная цельность красивой по своему народной песни перестает удовлетворять выросшее при усложненной жизни молодое поколение и задушевную народную песню вытесняет безобразная, но все же пытающаяся оформить какое-то новое, незаметно народившееся содержание, фабричная частушка. Мы знаем: отстоится это новое в душе, и безобразную частушку, этот временный пауперизм духовный, сменят новые напевы, еще более, нежели старин-

ная песня, прекрасные и светлые. То же самое—хочется думать—будет и с сибирской поэзией.

Остается посмотреть, насколько силен был сибирский колорит у скончавшегося в 1883 г. отца сибирской поэзии, и если силен, то—почему, и каково именно содержание сибирских мотивов у Омулевского, каковы художественно-поэтические его образы, и формы этих образов.

Несколько слов о форме поэтических произведений И. В. Федорова-Омулевского вообще. Старая эстетика—эстетика узко формальная, построенная на внешней красивости, симметрическом соотношении частей, так называемом „чувстве меры“ и исключении из области эстетики всего „непоэтического“, „неизящного“, „уродливого“ (*le grotesque*), — эстетика, признавшая „прекрасное“ абсолют, — такая эстетика безповоротно осудила поэзию Омулевского, объявив, что, как и в творчестве Некрасова, „поэзия-то в ней и не ночевала“. Другая эстетика ныне также изжитая, — эстетика анти-эстетизма, эстетика содержания, но не формы по преимуществу, или, как выражались, „разрушенная эстетика“ — обими руками уцепилась за поэзию Омулевского, облюбовав в ней, главным образом, мотив гражданский.

Ныне обе эти точки зрения, взаимно одна другую убивавшие, слава богу, отошли в область прошлого. Новая эстетика, построенная на гармонии и содержания и формы, на понятии об относительности, — не нуждается ни в осуждении гражданского мотива, как и всякого иного, ни в признании греховным пользования улыбкой жизни, радостью поэзии. Такая эстетика (новая, конечно, очень относительно) может спокойно рассмотреть поэзию и Федорова-Омулевского, не становясь на точку зрения „публицистизма“, равным образом и „эстетизма“, — одинаково, хотя и каждая по своему, тенденциозные.

Понятие о красоте, — говорит эта новая, диалектическая эстетика, как и всякое другое понятие, есть

вещь относительная (см. об этом нашу статью „Эстетизм и эстетика“). Прекрасны „уродливые“ периоды Толстого („что“, „что“, „что“), нагроможденные как будто преднамеренно, ибо громоздкость их в полнейшем соответствии с громоздкостью быющих в них мысли и чувства. Прекрасна воздушная муза Сологуба, ибо идеально отражает изящную стыдливость его души. Прекрасны так называемые „прозаизмы“ Некрасова, ибо они согреты, „опоэтизированы“ чувством, ибо в них—нетерпеливость горячего сердца, бросающего первые попавшиеся слова, способные зажечь печалью и гневом. Прекрасно и в Федорове Оммулевском то, что продиктовано горячим чувством и на чем печать гармонии.. не той „гармонии“, о которой вздыхают люди, воспитанные в эстетических преданиях 40-х годов, а гармонии меж замыслом и воплощением, меж содержанием и формой, меж душой и внешним ее обликом.

Предоставим эстетам ковыряться в буквах, пересчитывая, сколько у Некрасова свистящих и шипящих звуков в фразе: „от ликующих, праздно болтающих“, или у Федорова Оммулевского частичек „если-то“. Пусть господа эстеты облюбовывают форму, как имеющую „самоцельное“ значение, как вещь в себе, пусть разрывают эту форму с содержанием. Мы—не из их числа. Но предоставим также и „гражданственникам“ восторгаться „содержательностью“ там, где форма представляет рубленую прозу, где холодная риторика рождает голую идею, непропущенную через призму сердца (как это случается порой у Оммулевского и даже у Некрасова). Мы берем поэзию, как нечто цельное, как душу, воплощенную в живое тело. Мы немножко влюблены в поэзию и не имеем времени детально рассмотреть, достаточно ли нос ее классичен, да признаться—и смеемся над холодным классицизмом; но мы страстно негодуем, получив в ответ на пылкое признание тираду из готовых фраз, хотя бы и гражданских, но единый смысл которой: „Ах, как стыдно! в годину горя... и т. д., и т. д., и вдруг!..“

Мы любим нашу поэзию за то, что она нам—именно нам, а не эллинам, напр. и не маркизам в фижмах—нравится. и нас—именно нас—волнует, „заражает“, и скорее просто любит, нежели куда-то „ведет“, а в сущности именно ведет, но так не́приметно и, ловко, что мы, влюбленные, кроме ее ласк, ничего не замечаем.

Мы знаем, напр., что ни маркизу, ни эллину, ни даже—боже сохрани—новейшему эстету не понравится и ничего не скажет следующее трехстишие из Омудевского:

Если ты странствуешь, путник,
С целью благой и высокой,
То посети между прочим!
Край мой далекий.
Там сквозь снега и морозы
Носятся мощные звуки.
Встретишь людей там, что терпят
Муки за муки..
Нет там пустых истуканов,
Вздохов изнеженной груди..
Там только люди да цепи,
Цепи да люди!

А нам, читатель, с вами эти строчки так много говорят, и мы, не обинуясь, скажем, что ультра-прозаическое стихотворение, которое не нравится маркизам, все же прекрасно. О да, будь это „если-то“ и „между прочим“, или „с целью благой и высокой“ у Бальмонта—это осквернило бы его мимозообразную душу. Но тут, у Омудевского... тут мы просто не замечаем этих „прозаизмов“: нам не до них. Мы видим только, как некто суровый, пришедший из страны „мороза и снегов“, некто познавший в ней „муки за муки“—приобщает нас к чему-то гроыхающему (ритм) и величавому. Мы напряженно всматриваемся в далекий образ, а за ним—эта картина: цепи—люди, люди—цепи... В сущности, мы и не знаем даже, что это за „цепи“, — „цепи

гор“, или.. иные,—но и в этой недомолвке оба представления так неразрывно по ассоциации сплетаются, что цельный и единый восстает суровый образ тяжкий вздох, рожденный среди мятежей...

И не правда ли: вы не смешаете вот этот образ— „цепи гор“, в который так навязчиво влетается ассоциация звенящих кандалов, с образом других цепей, хотя бы, напр., Альпийских? Уж не в этом ли—„сибирские тона“, „сибирские мотивы“, „краски“ „настроения“? Не в сочетании ли этом—„цепи—люди“—„специфический“, „сибирский“. „местный“, „областной“, или какой еще „колорит“? Как вы, господин читатель, полагаете?...

— Итак,—прерывает меня читатель,—вот вы уже и договорились незаметно до того, что в поэзии Оммулевского,—совсем не в пример современным нам (1913) сибирским поэтам, сибирские краски имеются! Потрудитесь же ответить напрямки, действительно ли это так если так, то чем именно вы объясните то обстоятельство, что лет по меньшей мере 30 и по большей 50 тому назад (момент появления рассмотренного, напр., выше трехстишия), когда в духовном отношении Сибирь была значительно моложе, когда количество духовных ценностей накопленных было значительно меньше и культурный пауперизм этим самым давал себя чувствовать несравненно острее,—почему именно в то время возможно было появление поэта с таким сильным чутьем „сибирского“, как это, видимо, у Оммулевского? Ведь не отделаетесь же вы ничего не говорящей отпиской, что это, —мол— дело таланта? ибо в талантливости некоторым из современных нам сибирским поэтам вы не сможете отказать и сейчас.

На первый ваш вопрос, любезный читатель, отвечу напрямки: да, сибирский колорит в поэзии И. В. Бедорова-Оммулевского имеется, что я и постараюсь показать сейчас. Ответ же на второй ваш вопрос отчасти наметится в самом ходе изложения, яснее же определится из выводов.

У Оммулевского, — помимо вкрапленного в прочие произведения и совершенно не касаясь прозы. — есть прямой отдел стихотворений, озаглавленный: „Сибирские мотивы“ (23—24 стихотворения). На нем-то, как наиболее выпуклом, и следует остановиться по преимуществу. Особенно характерными в интересующем нас отношении и, в то же время, наиболее удачными в отношении вообще эстетическом, являются, напр., такие строфы:

„Близ грании Монголии“ — дорожный набросок.

Еду я.. Саянские хребты
Тешат глаз мой вечными снегами.
Я дремлю. О родине мечты
Золотыми кажутся мне снами.
Чул.. Монгол.. Луна глядит с небес,
Как он пал пред чем-то на колени,
А к нему чудесный темный лес
Протянул причудливые тени.
Сон пропал. Но грезы все растут,
Словно те седые великаны,
Что стоят на страже вечной тут,
В голубые кутаясь туманы...
Мне сдается: родная моя
Через них гигантскими шагами
Перешла и смотрит на меня
Ожиданья полными очами.
И, качая грустно головой,
Будто шлет мне молча укоризну,
Что не раз я там в стране чужой
Забывал далекую отчизну...

Мне не для чего, думается, комментировать это пятистишие, отмечая, что именно в нем специфически-сибирского. Здесь, что ни абзац, то — свой, сибирский, специфический образ: родина, как бы застывшая в суровой укоризне; горные хребты вдали, стоящие на страже, как седые великаны; и затерянный в снегах, и дремлющий и грезящий о родине человек; и этот вот